

Октавио Пас

День всех святых, праздник мертвых

Мой необщительный соотечественник любит праздничные даты и людные места. Главное — собраться, по какому поводу — неважно. Только бы разорвать круговорот дней и увековечить героя или событие сборищем, шествием, а повод всегда найдется. Мы — народ обрядоверцев. Без этого не было бы ни нашего воображения, ни впечатлительности, которые отточены за века и в любую минуту наготове. Едва ли не всюду пришедшее в упадок, в наших краях Искусство Праздника лелеют и поныне. Вряд ли где еще в мире удастся оказаться в гуще такого зрелища, как главные религиозные празднества в Мехико с их бьющими в глаза, пронзительными и чистыми красками, их танцами, шествиями, фейерверками, диковинными нарядами и неисчерпаемым водопадом немислимых плодов, сладостей и всего, чем бойко торгуют в такие дни на перекрестках и базарах столицы.

Наш календарь битком набит праздниками. В назначенные дни все и вся — от самых глухих селений до гигантских городов — молятся, вопят, едят до отвала, напиваются до чертиков и отправляют друг дружку на тот свет именем Богородицы Гвадалупской или генерала Сарагосы. Каждый год пятнадцатого сентября за час до полуночи на всех площадях Мексики начинается празднество Всенародного Клича, и взбудораженные толпы битый час истощают энергию в общем крике, чтобы, может быть, еще глуше замолчать на весь оставшийся год. Накануне и после 12 декабря время замедляет бег, останавливается и, больше не подталкивая к недостижимому и неверному завтрашнему дню, предстает в образе завершенного и безупречного дня нынешнего — дня плясок и пиров, сопричастности и приобщения к самому истоку и тайне всего мексиканского. Время теперь уже не вереница сменяющих друг друга минут и часов, а то, чем оно всегда было и остается: вечно настоящее, в котором наконец слились прошлое и будущее.

Но общими праздниками в честь Церкви и Республики дело не ограничивается. Жизнь любого города и любой деревушки заправляет святой покровитель, которого чествуют истово и регулярно. Свои годовщины, обряды и празднества есть у ремесел и кварталов. В конце концов, свой ежегодно прославляемый святой сопровождает каждого из нас - атеиста, католика или просто равнодушного. Праздничные дни и расходуемые на них средства и время не поддаются исчислению. Помню, несколько лет назад я разговорился с городским головой поселка неподалеку от Митлы: «Сколько поступает к вам в бюджет за счет налогов?» — «Тысячи три в год. Мы лю-

ди бедные. Поэтому господин губернатор и федеральные власти всякий раз и помогают нам свести концы с концами». — «А на что же идут эти три тысячи песо?» — «Да почти целиком на праздники. Поселок наш небольшой, но у нас два собственных святых»,

Ничего удивительного тут нет. Нашу нищету можно измерить именно количеством и пышностью публичных празднеств. В богатых странах их куда меньше: нет ни времени, ни настроения. Да и потребности особой не возникает: людям здесь есть чем заняться, а развлекаются они, как правило, в кругу своих. Современные массы — это скопления одиночек. Если публика Парижа или Нью-Йорка в редких случаях и теснится на площадях и стадионах, то сразу бросается в глаза отсутствие народа; перед нами — парочки, группки, но не живое множество, в котором единица растворяется и вместе с тем находит освобождение. Как моему бедному соотечественнику выжить без этих двух-трех праздников в год — единственного возмещения за глухую и нищую жизнь? Празднества — наша единственная отрада; они с успехом заменяют нам премьеры и каникулы, уикэнды и коктейли англосаксов, буржуазные приемы и средиземноморские кафе.

В обрядах — общенациональных, местных, цеховых, семейных — мои соотечественники раскрываются навстречу миру. Это случай проявить себя и встретиться с божеством, родиной, друзьями, близкими.

Обычно тихий мексиканец в такие дни свистит, горланит, поет, взрывает хлопушки, палит в воздух. Словом, разряжается. И его крик, как наши любимые шутихи, взмывает к небу, вспыхивает зеленым, красным, синим, белым дождем и, кружась, падает на землю, волоча хвост золотящихся искр. В такую ночь друзья, месяцами не обменивавшиеся и словечком сверх обычных вежливых фраз, бражничают вдвоем, открывают друг другу душу, плачут об общих бедах, клянутся в братских чувствах и — в подтверждение их — нередко хватаются за ножи. От пения и галдежа ночь ходит ходуном. Влюбленные будят подруг оркестрами. Реплики и шутки летят от балкона к балкону, с тротуара на тротуар. В воздухе парят шляпы. Издевки и брань сыплются полновесным серебром. Звенят гитары. Бывает, веселье кончается плохо — ссорой, оскорблениями, перестрелкой, поножовщиной. Но это тоже часть праздника. Мы ведь здесь не развлекаемся, а силится перешагнуть через себя, выскочить из одиночества, в котором замурованы весь год. Бешенство и озлобление клопочут в каждом. Души взрывчаты словно краски, голоса, чувства. Пытаемся забыться? Ищем свое истинное лицо? Кто знает, Главное — выйти, шагнуть, охмелеть от гама, людей, пестроты. Праздник всюду. И, со всем своим салютом и хмелем, этот

праздник — сверкающая изнанка нашего молчания и безволя, замкнутости и вражды.

Некоторые французские социологи видят в празднике ритуал расточительства. Разбазаривая нажитое, сообщество хранит себя от небесной и земной зависти. Жертвоприношения и дары должны умилоствовать или подкупить богов и святых покровителей, подарки и празднества — соседей. Непомерность трат и расточение сил утверждают богатство сообщества. Эта роскошь — знак здоровья, доказательство изобилия и мощи. Или магическая западня. Показное расточительство должно — по закону заражения — приманить подлинное изобилие. Деньги — к деньгам. Брызжущая жизнь придает себе еще больше жизни; оргия, сексуальная растрата — это еще и церемония коллективного возрождения: чем больше ты отдаешь, тем сильнее становишься. Обряды, связанные в любой культуре с завершением года, — это не просто празднование памятной даты. Этот день своего рода перерыв, когда время как бы приходит к концу, истощается. И обряды, прославляющие его конец, должны вызвать возрождение. Праздник окончания года — это и праздник года нового, праздник начала времен. Противоположности притягиваются. В итоге праздник куда полезней, чем думают. Ведь трата вызывает или приманивает изобилие и есть лишь его обратная сторона. Только здесь не выгадывают и не считают барышей, ведь речь идет о возвращении сил, жизни, здоровья. В этом смысле Праздник — наряду с даром и жертвой — одна из древнейших форм экономической деятельности.

Этот подход всегда казался мне слишком узким. В рамках сакрального миропорядка праздник есть прежде всего явление небывалого. Здесь другие, исключительные законы, которые отделяют от обыденности и задают особый тон. А стало быть, другие тут и логика, мораль, даже экономика: они ставят повседневность на голову. Мы в зачарованном мире. Здесь иное время (либо мифическое прошлое, либо вечно-настоящее); пространство преобразено, выделено из мира, украшено и обращено в «место празднества» (как правило, особое или малопосещаемое); участники забыли свои места в семье и обществе, став живыми, хоть и мимолетными, образами священного. И все происходит понарошку, словно во сне. Будь что будет, мы раскрепощаемся, сбрасываем груз земного тяготения; у каждого здесь свое место и особая роль. И всякий свободен от гнета времени и рассудка.

Иные праздники отменяют само понятие порядка. Возвращается хаос, царит произвол. Все разрешено: нет привычной иерархии, стерты различия по социальному положению, полу, классу, цеху. Мужчины переодеты женщинами, господа — слугами, бедняки — богачами. Над военным, священником, чиновником потешаются.

Правят дети или безумцы. Все предаются ритуальному осквернению, неперемому святотатству. Любовь обращается в свальный грех. Праздник перерастает в черную мессу, Правила, обычаи, привычки рушатся. Уважаемый господин сбрасывает привычную личину, темный костюм и накидывает пестрый наряд, пряча лицо под маской, освобождающей от надоевшего себя.

Праздник — не простое расточительство, ритуальное разбазаривание накопленного трудами за год. Это еще и поворот, нырок в хаос, в самую стихию жизни. В ходе праздника общество высвобождается из навязанных норм, смеется над своими богами, началами и законами — короче, упраздняет само себя.

Праздник — это, в буквальном смысле слова, Поворот. В наступившей смуте общество растворяется, тонет, теряет свойства особого организма, живущего по принципам и правилам. Но тонет, опять-таки, в себе самом, своем же первородном хаосе, своей первозданной свободе. Все — во всем: добро и зло, ночь и день, святое и проклятое смешались. Все входит друг в друга, теряет черты, особенности, возвращается в первичную массу. Праздник — космическое действо, опыт Беспорядка, слияния противоборствующих стихий и начал ради новой жизни, Так, ритуальная смерть пробуждает силы воскресения, обжорство — аппетит, разгул — сам по себе вполне безгрешный — плодовитость женского или земного лона. Праздник — это возврат к исходному состоянию нераздельности, будь то предродовому или досоциальному. Возврат, который — по внутренней логике социального — есть, вместе с тем, начало.

Из этой купели хаоса людское сообщество выходит очищенным и укрепленным. Оно заново прошло утробу, из которой некогда явилось на свет. Иными словами, праздник разрушает общество как органическую связь отдельных стихий и форм, утверждая его этим как источник творческой энергии. Это поистине воз-рождение, не чета нынешним каникулам безо всяких обрядов и церемоний, индивидуальным и выхолощенным, как сам изобретший их мир.

На празднике общество приобщается к самому себе. Каждый возвращен к изначальной путанице и раскрепощенности. Привычная структура общества упразднена, взамен возникают новые связи, неожиданные правила, причудливые иерархии. В общей сумятице каждый находит забытые и отраду в местах и обстоятельствах, обычно для него недоступных. Граница между зрителями и актерами, исполнителями и помощниками стирается. Всякий праздник — это праздник всех, в его круговороте растворяется каждый. Каков бы ни был повод, строй и смысл праздника, он всегда — соучастие. Это и отличает его от любых других явлений и церемоний, будь то светских или религиозных: праздник — это общественное событие при активном участии каждого.

Благодаря праздникам мои соотечественники раскрываются, участвуют, причащаются ближним и ценностям, придающим смысл их религиозной и политической жизни. Как ни парадоксально, именно в нашей печальной стране столько праздников, и до того веселых. Они так часты, так пышны, все мы с таким воодушевлением их ждем, что без них бы, понятное дело, взорвались. Они хоть на миг освобождают от безысходных порывов и взрывчатых запасов, которые мы день за днем носим в себе. Но наш праздник непохож на возврат к изначальной сумятице и раскованности. Не вернуться мы хотим, а уйти от себя, себя преодолеть. Праздник для нас — взрыв, выброс. Смерть и жизнь, восторг и стенание, песня и крик сливаются на наших праздниках, но сами мы не возрождаемся, не обретаем себя, а истребляем друг друга. Нет ничего веселей и печальней нашего праздника, и праздничная ночь у нас — траурная,

Если в будничной жизни мы от себя таимся, то в круговороте праздника выплескиваемся. Мы не просто раскрываем, а буквально раздираем себя. Все — песня, любовь, дружба — кончается пронзительным, душераздирающим криком. Наш праздник неминуемо взорвется ожесточением — в своем затворничестве мы начисто забыли дорогу к внешнему миру, Нам понятны бред, песня, вопль, монолог, но не беседа. Наши праздники — как и наши душеизлияния, наша любовь и все наши попытки перекроить общество — это всякий раз насильственный разрыв с прежним и устоявшимся. Пытаясь выразить себя, мы рвем связь с собою. И праздник — лишь один, хотя и самый типичный, пример такого разрыва. Нетрудно перечислить другие, не менее красноречивые: скажем, игра, где мы всегда доходим до края, нередко опасного для жизни; неумеренность в еде, непременная спутница скромных сбережений и экономических неудач; любовь к душеизлияниям. Существо угрюмое, замкнутое, мой соотечественник внезапно вскидывается, распахивает душу и выставляет ее напоказ, с каким-то удовольствием и самолюбованием задерживаясь на самом постыдном и чудовищном. Мы недоверчивы, но порой наша искренность доходит до степеней, ужасающих европейца. Взгляните на эту взрывчатую, драматизированную, а то и самоубийственную манеру обнажаться и выворачивать себя наизнанку до полной незащитности — чем мы так задавлены и пригнаты? Что-то в нас самих мешает нам жить. И тогда, не решаясь или не умея встать лицом к лицу с собственной судьбой, мы зовем на помощь Праздник. И бросаемся в небытие — хмель самосожжения, выстрел в пустоту, гаснущая шутиха.

Смерть — зеркало, в котором понапрасну кривляется жизнь. Весь этот пестрый клубок действий, заминок, угрызений и проб — побед и обид, составляющих жизнь любого, — находит в смерти если не

смысл и не ключ, то по крайней мере конец. Перед смертью жизнь обрисовывается — и застывает. Прежде чем ступешаться и раствориться в небытии, жизнь каменеет и отливается в неподвижную скульптурную форму; теперь мы изменимся, только стираясь навсегда. Смерть высвечивает нашу жизнь. И если нет смысла в смерти, значит, не было его и в жизни. Не потому ли об умершем насильственной смертью говорят: «Он ее нашел»? Каждый и в самом деле находит свою смерть, готовит ее собственными руками. Христианская смерть и смерть собачья — разные способы не только умирать, но и жить. Если смерть обманула и кто-то умер дурной смертью, о нем жалеют: «Не сумел умереть!» Смерть, как и жизнь, у всякого своя. И если умираешь иначе, чем жил, то не оттого ли, что прожил жизнь не свою, а чужую — такую же чужую, как эта злая, добившая тебя судьба? Скажи, как ты умер, и я скажу тебе, кто ты.

Для древних обитателей Мексики черта между жизнью, и смертью была не такой резкой, как для нас. Жизнь продолжалась после смерти. И наоборот, Смерть значила не естественный конец жизни, а лишь фазу бесконечного круговорота. Жизнь, смерть и воскресение чередовались в непрерывно повторяющемся космическом процессе. Жизнь венчалась переходом в свою неразрывную противоположность — смерть. Но и та, в свою очередь, существовала не сама по себе: человек питал своей смертью вечно ненасытную жизнь. Два смысла было и у жертвоприношения; с одной стороны, человек, платя положенный долг всего человеческого рода, включался в ход мирозидания, а с другой — укреплял и космическую, и держащуюся на ней общественную жизнь.

Может быть, главное здесь - сверхличный смысл жертвы. Поскольку жизнь не принадлежит человеку, то ничего индивидуального нет и в его смерти. Просто в некий час умершие исчезают, либо вернувшись в туманную страну теней, либо растворясь в воздухе, земле и огне как животворная субстанция мироздания. Наши далекие предки не считали, будто смерть — их личное дело, как никогда бы не поверили, что жизнь — это «их собственная жизнь», в христианском понимании слова. Все в мире — социальное положение, год, место, день, час — сопрягалось друг с другом, предопределяя жизнь и смерть каждого от самого рожденья. Ацтек так же мало отвечал за любой свой поступок, как и за свою смерть.

Пространство и время сливались в неразрывном единстве. Любому пространству, любой из ключевых точек мира и его центру, где все замирало, соответствовало и особое «время». И это времяпространство обладало собственными свойствами, собственной силой, исподволь предопределяя и формируя человеческую жизнь. Являясь на свет в определенный день, человек навсегда связывал себя с данным пространством, временем, цветом, судьбой. Все было предначертано зара-

нее. Мы отделяем пространство от времени как разные площадки, на которых идет один и тот же спектакль нашей жизни, они же обитали в стольких времяпространствах, сколько сочетаний предусматривал священный календарь. И каждый участок наделялся своим, превосходящим волю человека содержанием и смыслом.

Тогдашней жизнью правили религия и судьба, как нашей правят мораль и свобода. Мы живем под знаком свободы, Все — даже рок греческих трагедий и милость христианского богословия — для нас предмет выбора и борьбы; главным для ацтеков было уяснить не всегда четко выраженную волю богов. Отсюда важность гадательных умений. Свободными здесь оставались только боги. Они могли выбирать, а потому, в точном смысле слова, совершить грех. И религия ацтеков — это религия великих и грешных богов (лучший пример здесь — Ке-цалькоатль), богов, которые могут смалодушничать, бросить своих приверженцев на произвол судьбы, как иные христиане могут отречься от своего Бога. Без предательства богов, отступившихся от своего народа, не понять, кстати, и завоевание Мексики.

С приходом католичества все изменилось. Прежде достояние всех, жертва и спасенье теперь — личное дело каждого. Свобода очеловечивается, воплощаясь в твоём собственном уделе. Для древних ацтеков главное было сохранить непрерывность жизни; жертва обеспечивала не запредельное спасение, а космическое торжество, и кровью и смертью людей жил мир, не индивид. Христиане ставят во главу угла личность. Мир — история, общество — раз и навсегда обречен, Христос спас своей смертью всех. И каждый — Человек (с большой буквы), надежда и спасение рода человеческого. Искупление, стало быть, - в твоих руках.

Как ни противостоят две эти позиции, в них есть общее; жизнь и коллектива, и индивида раскрывается в перспективе смерти, то есть — своего рода новой жизни. Жизнь оправдана и преодолена, лишь воплотясь в смерти. Но и смерть запредельна и потустороння, поскольку начинает собой новую жизнь. Для христианина смерть — переход, смертельный прыжок от одной жизни к другой, от временной к нездешней, Для ацтека — путь к глубочайшей сопричастности непрерывному возрождению животворящих сил, которые заглохнут, если не насытить их кровью, священным яством. И там, и здесь жизнь и смерть не делимы друг от друга, они — два лика единой яви. Но смысл ее - не здесь и задан иными ценностями: они отсылают к реальности незримого.

Сегодня же в смерти нет ничего запредельного, относящегося к иному миру. Это просто неизбежное завершение естественного процесса, В мире фактов смерть лишь один из них. Но факт этот неприятен, он ставит под удар все наши идеи и сам смысл жизни, а потому философия прогресса («Прогресса от чего к чему?» — спра-

шивал Шелер) берется избавить нас от его назойливого присутствия. Нынешний мир живет так, словно смерти нет. Никто не принимает ее в расчет. Напротив, ее сплошь и рядом упраздняют: возьмите проповеди политиков, рекламу торговцев, общественную мораль, повседневные привычки, неразорительные удовольствия и общедоступное спасение, которое сулят поликлиники, аптеки и стадионы. Но смерть — уже не мостик, а гигантская, зияющая и всеохватная пасть — караулит за каждым углом. Век борьбы за здоровье, век гигиены, противозачаточных средств, болеутоляющих таблеток и синтетической пищи — это и век концлагерей, полицейского государства, угрозы атомного уничтожения и кровожадных книжонок в любом киоске. О смерти — «своей смерти», как мечтал Рильке, — не думает никто, поскольку никто не живет собственной жизнью. Всеобщая бойня — детище обобществленной жизни.

Смерть потеряла смысл и для моих соотечественников. Она уже не путь и не подступ к другой жизни, более полной, чем здешняя. Но, не отсылая теперь к запредельности, смерть не ушла из наших будней. В Нью-Йорке, Париже или Лондоне слова «смерть» не услышишь: оно жжет губы. А у нас оно с языка не сходит — брань и ласка, самая ненаглядная игрушка и самая старая любовь, без которой и сон не в сон и праздник не в праздник. Конечно, нами тоже движет страх, но мы его, по крайней мере, не скрываем и от смерти не прячемся. Мы смотрим ей в лицо с нетерпением, превосходством или иронией: «Если мне умереть сегодня, значит, завтра останусь цел».

В нашем безразличии к смерти — безразличие к жизни. Для моего соотечественника ничего запредельного нет не только в смерти, но и в жизни. Из наших песен, пословиц, праздников и уличной мудрости с полной ясностью видно: смерть никого не пугает, поскольку «нас жизнь излечила от страха». Умереть — дело обычное, даже приятное, и чем быстрее — тем лучше. Равнодушие к смерти — обратная сторона нашего равнодушия к жизни. У нас легко убивают, не видя в жизни — ни своей, ни чужой — ничего мало-мальски ценного. И это понятно: жизнь и смерть неразрывны, и если первая теряет смысл, глубины лишается и вторая. Наша смерть — зеркало нашей жизни. И от обеих мы отгораживаемся, делая вид, что их не замечаем.

Безразличие к смерти и почитание ее друг другу не противоречат. Она живет в наших праздниках, играх, любви, разговорах с самими собой. Мысли о смерти и убийстве не покидают моих соотечественников никогда, нас буквально тянет к смерти. Может быть, это наваждение — от нашей замкнутости, от ярости, с какой мы вырываемся из заклятого круга? Жизненные силы в нас задавлены, исковерканы негодными формами выражения, отсюда и смертоносный — злобный или самоубийственный — характер любого взрыва

чувств. Выплескиваясь, мы доходим до предела остроты, на миг достигаем ускользящей из-под ног вершины жизни. И там, на высоте неистовства, вдруг чувствуем головокружение: смерть зовет нас.

Но смерть — это еще и спасение от жизни. Смерть обнажает всю ее зрящность и пустоту, сводя к тому, чем она всегда и была для нас — груды голых костей и ледящей кровь ухмылке. В запертом и безвыходном мире, где смерть повсюду, единственное, что не обманет, это сама смерть. Мы утверждаемся через отрицание. Черепа из сахара и цветной бумаги, расцветенные фейерверочные скелеты, ярмарочные пьески всегда смеются над смертью, утверждая ничтожество и бессмысленность человеческого существования. Мы украшаем дома черепами, едим в День всех усопших булочки в форме костей, забавляемся куплетами и анекдотами о скалящейся надо всеми плешивой смерти, но эта панибратская похвальба не в силах заглушить вопроса, который задает себе каждый: что же такое смерть? Мы не нашли своего ответа. И всякий раз, спрашивая себя, пожимаем плечами: что мне смерть, если я и жизнь-то ни во что не ставлю?

Наглухо запершись от мира и ближних, раскрываются ли мои соотечественники навстречу смерти? Да, они ее улещивают, чествуют, носятся с ней, то и дело (и каждый раз навсегда!) бросаются ей в объятия, но никогда не предаются целиком. Мексиканцу все не по нутру, все ему чужое, тем более — самое чужое на свете, смерть. Он не отдается смерти, ведь самоотдача требует жертвы. А жертва, в свою очередь, значит, что один отдает, а другой — принимает. Иначе говоря, нужно открыться, встать лицом к лицу с реальностью, которая тебя превосходит. В мире без глубины, в замкнувшемся на себе мире смерть ничего не дарует и ничего не приемлет, она уничтожает себя, насыщаясь собою. Поэтому, при всей ни одному другому народу не ведомой задушевности отношений со смертью, у нас нет в них ни настоящего смысла, ни подлинной страсти. И если смерть у ацтеков и христиан плодоносна, то у нас она попросту стерилизована.

Иное дело — европейцы и североамериканцы. Здесь на страже человеческой жизни стоят законы, обычаи, общественная и индивидуальная мораль. Впрочем, сие нисколько не мешает росту и числа, и искусства изобретательных и изощренных убийц, безупречных исполнителей четкого, серийного уничтожения, Постоянные налеты профессиональных головорезов, обдумывающих и рассчитывающих свои злодеяния с недоступной мексиканцам точностью; удовольствие, с которым они распространяются о своем опыте, утехе и уловках; зачарованность, с какой поглощают эти исповеди пресса и публика, и, наконец, признанная всеми беспомощность сложившихся карательных систем, вновь и вновь сулящих сократить количество убийств в ближайшем будущем, — все это убеждает, что пресловутое уважение к

человеческой жизни, которым столь кичится западная цивилизация, в лучшем случае — полуправда, если не явная ложь.

Подлинно глубокий и всеобщий культ жизни есть, вместе с тем, и культ смерти. Их друг от друга не оторвать. Цивилизация, отрицающая смерть, рано или поздно придет к отрицанию жизни. И совершенство нынешних преступлений — не просто следствие современного технического прогресса, но и результат обесценивания жизни, неизбежно таящегося за любой попыткой отвернуться от смерти. Могу добавить, что за современным техническим совершенством, с одной стороны, и всеобщей популярностью кровавого чтения — с другой (так же, как за концлагерями и системами массового уничтожения), стоят все те же оптимистические и плоские представления о человеческом уделе. Именно поэтому бесполезно бегать от смерти в мыслях или на словах: она так или иначе найдет каждого и в первую голову тех, кто жил не думая (точнее — якобы не думая) о ней.

Убивая из мести, ради удовольствия или прихоти, мои соотечественники всегда убивают себе подобного. Современные же преступники — как статистики: они не убивают, а ликвидируют. Ставят опыт на существах, уже потерявших для них человеческие качества. В концлагере человека прежде всего низводят до полного ничтоже-тва: лишь превратив его в предмет, можно истребить миллионы. В конце концов, обычный нынешний городской преступник — если не касаться движущих им мотивов — делает в миниатюре лишь то, что какой-нибудь из нынешних вождей — в миллионнократном увеличении. Он ведь тоже, на свой лад, ставит опыт — готовит яды, травит труп кислотами, сжигает одежду, короче говоря, низводит жертву до положения вещи. Древняя связь между убийцей и жертвой — единственное, что делает преступление все-таки поступком человека, и единственное, что позволяет его вообразить, — здесь улетучивается. Перед нами, как в романах маркиза де Сада, лишь палачи и вещи, инструменты утехи и гибели. И то, что жертвы в реальности не существует, делает бесконечное одиночество убийцы невыносимым — и безысходным. Для моих соотечественников убийство — это связь и, в этом смысле, даже освобождение, оно сродни празднику или исповеди. Отсюда драма убийства, его поэзия, его, рискну сказать, своеобразное величие. Убивая, мы — хоть на миг — касаемся запредельного.

В начальных стихах восьмой из «Дуинских элегий» Рильке говорит, что земная тварь — человек в его животной безгрешности — созерцает Открытое. Мы — другое дело: ни один из нас никогда не устремляется за пределы земного, к абсолюту. В страхе мы только отводим глаза, отворачиваемся от смерти. А не желая ее признать,

навсегда замуравываем себя в жизни как самодостаточном целом. Рилькеанское Открытое — это мир, где противоположности преодолены, а свет и тьма слиты воедино. Подобное мировоззрение возвращает смерти ее настоящий, утерянный нынешней эпохой смысл: смерть и жизнь непримиримы и неразрывны. Они — половинки той сферы, которую мы, рабы времени и пространства, можем лишь смутно воображать. В мире до нашего рождения жизнь и смерть сливались, для нас они противостоят друг другу, а за последним порогом снова сольются, но уже не в животной, до-греховной и до-сознательной слепоте, а в новообретенной безгрешности. Человек в силах преодолеть пролеглий между жизнью и смертью временной разрыв, присущий вовсе не бытию, но лишь сознанию, и увидеть их в высшем единстве. Постигнуть его можно, лишь отказавшись от себя; тварное существо должно отречься от пребывания во времени, от ностальгии по лимбу, по животному миру, должно распахнуться навстречу смерти, если хочет воссоединиться с жизнью, — только тогда оно станет «словно ангелы».

Иначе говоря, перед лицом смерти есть два пути. Один - вперед, где она видится новым рождением, другой — назад, тут она предстает как зачарованность небытием или ностальгия по лимбу. Ни один из мексиканских и шире — латиноамериканских поэтов (за исключением, может быть, Сесара Вальехо) к первому пути даже не приблизился. Напротив, два мексиканских поэта, Хосе Горостиса и Хавьер Вильяурутья, воплотили в своем творчестве второй путь, но в двух противоположных смыслах. Для Горостисы жизнь есть «бесконечная смерть», затяжное падение в небытие, для Вильяурутьи она лишь «ностальгия по смерти».

Точный образ, вынесенный Вильяурутьей в название книги - «Ностальгия по смерти», — куда выше простой словесной находки, Здесь для автора — последний смысл его творчества. Смерть, понятая как ностальгия, а не результат или конец жизни, как бы говорит: мы дети не жизни, а смерти. Исток и начало, материнское лоно для нас — не утроба, а могила. Этот взгляд предельно далек и от любующегося собой парадокса, и от попросту повторенного, навязшего в зубах общего места: все мы прах и в прах возвратимся. Мне, напротив, кажется, что поэт ищет в смерти (истинном истоке) откровения, которого не находит в жизни, — откровения жизни подлинной. Может быть, со смертью

эти стрелки часовые,
обежавши циферблат,
все в одно соединят —

и откроется за смертью
жизнь, которой нет конца.

Вернуться к изначальной смерти — значит вернуться к жизни еще до рождения и прежде кончины — в лимб, материнское лоно.

Поэма Хосе Горостисы «Бесконечная смерть», вероятно, самый значительный для латиноамериканца документ воистину современного сознания — сознания, вглядывающегося в себя и замурованного в себе, в своей собственной ослепительной ясности. Просветленный и вместе с тем безутешный, поэт пытается сорвать с реальности маску, чтобы увидеть ее настоящее лицо. Старый, как сама поэзия и любовь, диалог между миром и человеком предстает как связь между водой и вмещающим ее сосудом, мыслью и формой, в которую она воплощена и которую, в конце концов, разрушает. Замурованный среди видений — деревьев и мыслей, камней и чувств, дней, сумерек и ночей, которые здесь всего лишь метафоры, что-то вроде цветного фильма, — поэт понимает, что дыхание, живящее и лепящее материю, придавая ей Форму, то же самое, что подтачивает, плющит и в конце концов низвергает ее. В этой драме без героев, поскольку все здесь лишь отсветы, маски самоубийцы, разговаривающего с собой на языке зеркал и отголосков, даже сам разум — всего лишь отсвет, образ — и притом чистейший образ — все той же зачарованной собою смерти. Все истаивает в собственной прозрачности, все тонет в блеске, все устремляется навстречу сияющей смерти: и сама жизнь здесь — лишь метафора, игрушка, с помощью которой смерть — снова смерть — соблазняет сама себя. Эта поэма — глубокое развитие старинной темы Нарцисса, ни разу, впрочем, не упомянутого. И дело здесь не в том, что сознание — разом и глаз, и зеркало, как у Валери — созерцает себя в прозрачных и безжизненных водах; нет, здесь прикинувшееся формой и жизнью, вдохом и грудью, притворяющееся уничтожением и прахом небытие в конце концов приходит к собственной наготе и, опустошенное дотла, склоняется над собою, — зачарованная собою, падающая в себя неутолимая и бесконечная смерть.

И если в празднике, во хмелю или душеизлияниях мы, рано или поздно, все-таки раскрываемся, то с таким ожесточением, что разрываем и попросту уничтожаем себя. Перед лицом смерти, как и перед лицом жизни, мыжимаем плечами, отвечая ей молчанием или презрительным смешком. Праздник и убийство — в неменяемом состоянии и безо всякого мотива — доказывают, что наше хваленое равновесие всего лишь маска и ее в любую минуту может смести внезапным душевным взрывом.

Всякий из нас словно чувствует в себе и в своей стране какую-то гигантскую — живую, прирожденную и неуничтожимую — червоточину. И все наши жесты — лишь попытка спрятать эту рану,

вечно кровоточащую и вновь готовую открыться и обжечь болью под лучом чужого взгляда,

Это рана отторжения. Пытаясь понять, как и когда это отторжение произошло, я убеждаюсь, что наше чувство одиночества порождено разрывом — с собой, с окружающим, с прошлым и настоящим. Доходя до предела — в разрыве с отцами, материнским лоном или землей предков, в гибели богов или пронзительной боли самосознания, — одиночество осознается как осиротелость. И оба эти чувства отождествляются с грехом. Но, если вспомнить об искуплении и очищении, в каре и стыде за свою отторженность можно увидеть необходимую жертву, залог и обет будущего причастия, сулящего конец изгнанию. Вина может быть смыта, рана зарубцуется, изгнание завершится причащением. Тогда одиночество есть своего рода очистительный обряд. Одинокий или отторженный преодолевает свою заброшенность, переживая ее как испытание и обет грядущего причастия.

Но мой соотечественник — подытожим сказанное — так и не преодолевает заброшенности. Он заперт в ней. И все мы остаемся в своем одиночестве, как раненый Филоктет на Лемносе, не надеясь, а страшась вернуться в мир. Для нас невыносимо присутствие ближних. Замкнутые в себе, разорванные и отчужденные, мы попусту истощаем выпавшее нам одиночество, не находя искупления вовне и творческой силы внутри. Мечемся между самоотдачей и неприступностью, воплем и немотой, шумным празднеством и погребальным бдением, но никогда и ничему не отдаемся целиком. Наше бесстрашие прикрывает жизнь маской смерти, а разрывающий маску крик возносится к небу, чтобы разлететься, распасться и рухнуть крахом и безмолвием. Мы заперты от мира и на пути жизни, и на пути смерти.

Перевод Б. В. Дубина